

Куда уходит самовар

I

Ванюшка шагает молча и все время смотрит себе под ноги. Я чувствую, что ему одиноко. Причин для этого много. Какая из них его тяготит, я не угадываю. А может, и все сразу. Во-первых, папа с мамой уехали в Болгарию. Огорчило, что ему нельзя с ними, но еще больше обидело, что он узнал об этом последним, когда дома уже появился новенький чемодан и, холодно сверкнув металлическими застежками, лег на стол.

Во-вторых, отвезти его к бабушке с дедушкой — из Москвы в уральскую деревушку — поручили чужой тете, то есть мне. Конечно, я была маминной давней и хорошей знакомой, но все равно в пути с мамой и папой надежнее. Вероятнее всего отдыхал бы он сейчас где-нибудь в лагере, если бы я не подвернулась со своей командировкой, не зашла к ним в гости по старой памяти и не уговорила отпустить его со мной.

В-третьих, Ванюшка совсем не помнил деда с бабкой: гостил у них лет шесть назад, когда только-только начал ходить в детский сад.

Но не знал еще Ванюшка главного — ему целый месяц предстояло жить во взрослом окружении, без сверстников.

Деревушка — пятнадцать дворов — уютно сидит на холме, вытянувшись в одну нитку вдоль дороги, и вся на виду. Осели в ней егеря и лесники, седые, молчаливые, много походившие по земле. Молодых здесь удержать не удавалось: у них росли дети, а тут — глушь, ни школы, ни больницы, — и все потихоньку перебирались ближе к райцентру, а то и вовсе отворачивались от родных мест. — Вань, ты хоть помнишь, как бабушку зовут? — спрашиваю я, устав от нашего хмурого молчания.

— Настей.

— А раньше ее звали Настусей.

— Зачем?

— Не знаю. Должно быть, так ласковее. Настуся... Правда ведь, ласковее?

Ванюшка неопределенно пожимает плечами.

— Еще зовут Меланихой. Как многих бабушек в деревнях — по фамилии, только фамилию немного переделывают.

— Как в школе, что ли?

— Ну да, как будто поддразнивают. Зато дед у тебя пресерьезный. Его все по имени-отчеству зовут — Фрол Матвеевич.

— А вы откуда знаете?

— Мы с твоей мамой учились вместе в институте. А на каникулы сюда частенько приезжали. Я и сейчас живу недалеко отсюда — четыре часа автобусом...

Вечереет. Солнце наполовину скрылось за лесом. Кажется, оно давно бы скатилось целиком вниз, если бы не зацепилось ненароком за колючие верхушки сосен.

С первого же двора проворно выглядывает пожилая женщина и радостно любопытствует:

— Ай в гости к дому?

— К Меланиным, — отвечаю я.

— Не худо. Враз к парному молочку, — женщина остается у ворот, вытирая фартуком руки.

— Чего это она?

— Да ничего, Ваня. Интересно ей. Они же здесь все друг друга знают. Вот стоит она сейчас и гадает, кто мы, откуда мы и надолго ли...

Ваня оглядывается и растерянно бормочет:

— И правда стоит...

У второго двора нас весело облаивает замызганная собачонка. Глаза у Ванюшки распахиваются. Он приседает перед собакой на корточки и доверительно шепчет:

— Ну чего ты, чего? Псючка, псючка... Чумазенькая...

Собака непонятно ухмыляется и уползает в подворотню.

Крупная беломордая корова стоит против избы и сонно двигает челюстями. Она еще ненасытно косит глазом на траву вдоль забора, но щипать ей явно лень.

В меланинском палисаде буйно сияют васильки. Под ними копошатся непривычно рябые и пестрые куры. У притворенной калитки ходит важный и нарядный петух, весь в немислимо синих отливах. Он несет свой гребень высоко и гордо, как королевскую корону.

— Вот это да! — восхищенно замирает Ванюшка.

— Никак Ленка! — Меланина поднимается с крыльца, на котором она чистит картошку. — Каким путем-дорогой?

— Здравствуйте, тетя Настя! Вот внука вам привезла из Москвы.

— Ай-ай! Так это Ваньча?! Какой вымахал! Да сымай ты котомку, сымай! Дай гляну на тебя!

— Это не котомка, а рюкзак, — Ванюшка оскорбленно держит свои вещи.

— Пошто не котомка, ежели мешок? — ласково удивляется бабушка. — Надо же, как снег на голову... Ну деду утеха будет! Пойдем в избу, пойдем. И дом-то у меня не обихожен нынче. И покоровничала я только-только, — сокрушается она. А глаза сияют. Привыкшая к несуетной размеренной жизни, она сейчас торопится, кружится у печи, хватаясь невпопад то за одно, то за другое. Белый платок сбит набок, и тетя Настя смешно, как тубетейку, берет его пальцами за макушку и сбрасывает на лавку. Голову туго обхватывает простенькая серая гребенка. Меланина проводит ею по разлетевшимся волосам, собирает их в пучок, калачиком закрепляет на затылке той же гребенкой и остается без платка,

помолодевшая, осветленная улыбкой, очень похожая на ту, давнюю, из поры моих студенческих каникул.

— Ополоснуться вам с дороги надо. Я сейчас, — и уже гремит во дворе рукомойником. Через минуту доносится: — Выходите, водичка хорошая, в бочке протеплилась. Ваньча, прихвати там на гвозде полотенце браное!

— Это как — браное? Которым вытирались?

— Да нет, скорее вон то, другое, шитое красным, — не очень уверенно показываю я Ване.

— Это, это, — радостно кивает бабушка внуку. — Ну вот и обмывайтесь, а я в погреб слажу. Ой, утеха-то деду будет, ой, ей-богу! Мы тебя сроду один раз видели и то махоньким...

Ванюшка с любопытством горожанина обходит двор. Трогает разбросанные у сарая обечайки, покосившуюся двуколку, деревянное корыто с водой, заглядывает с надеждой в пустую, почерневшую от времени конуру.

— А почему у вас собаки нет? — встречает он вопросом бабушку.

— Да как нет? Есть собака. С дедом блукает.

— Как это?

— А так. Дед на двоих, а собака на четырех.

— А-а, — успокаивается внук.

Я осторожно интересуюсь здоровьем Фрола Матвеевича. Знаю: привез с войны не очень чистые легкие и не раз лежал в больнице.

— Да оно б ничего, Лен, вот только на глаза худой стал. Два Демида и оба не видят. А служить надо. Хотя и на покой уже не грех. Однако ж как на него идти? Погибель ведь — тоска припадет, враз ноги протянешь. А пока ничего: хлеба край и пошел в рай. Леса-то вон какие красивые...

Накрытый стол манит здоровой простотой. Ванюшка поглядывает на необычно высокую булку хлеба и плотную, как масло, сметану, которая не растеклась по тарелке, а стоит белой круглой горкой. Рядом лежат свежевывмытые, с капельками воды, редиска, лук, укроп. На сковородке шипит яичница, в чугунке варится картошка, и вода под ней яростно подпрыгивает. Ждем хозяина. Фрол Матвеевич начинает разговор из-за порога:

— Ну поглядим, что за гости. Вся Лысовка знает, что у Меланиных гости, один Меланин не чует, даром, что с собакой. Вот те на! Я уж думал, что ты с кавалером, раз много шуму по деревне. А тут... Здорово, Лена батьковна! Что смеешься? Лысовка она и есть Лысовка: я еще не чихнул, а мне уже говорят: «Будь здоров». Здорово, мужик! Ты чей будешь?

Тетя Настя цветет:

— Вишь, старый, и Лысовка не все знает. Ванюшка это, внучек наш. Из самой Москвы к тебе на каникулы приехал!

— Вот это да! Так ты внук? Дай же обниму покрепче! Ну уважил, так уважил! А ничего, маслястый растешь! И руку крепко держишь. А где же батька с маткой?

— В Болгарии они. Отдыхать уехали.

— Ишь ты! — Фрол Матвеевич отпускает внука, садится на стул и, сняв картуз, надевает его на колени. — Ишь ты!

В этом коротком «Ишь ты!» прежний дядя Фрол, с хитрецей, с подвохом, с мелкими, неострыми, но камушками за пазухой. «Ишь ты!» может означать и высокое уважение: ишь, куда махнули! И обыкновенное презрение: ишь, променяли свое на что! Тетя Настя в его коротком молчании схватывает что-то недосказанное или, может, сказанное промеж собой, без нас, и, чтобы избежать продолжения разговора, тормозит мужа:

— Чего ты расселся, как в гостях? Хлеб заждался, и мы тоже.

— Я что? Фрол за стол всегда готов! Пойду малость почищусь.

— А можно, я собаку посмотрю? — робко идет Ваня за дедом.

— Чего ж нельзя? Можно, конечно.

— Она злая?

— Если тронешь больно, может и озлиться. А так — небось, не укусит.

— А как ее зовут?

— Шайтаном кличут. — Поймав мой вопросительный взгляд, Фрол Матвеевич добавляет: — Шайтан — внук того Шайтана.

Пока их нет, тетя Настя тихо оправдывается:

— Обижается старик — редко дети наезжают. Троих народили, а ни детей, ни внуков не видим. А уж Ванюшке ра-ад! Да ты сама, чать, видишь. — Тетя Настя смахивает слезу углом передника и начинает сливать воду с картошки. Помолчав, она опасливо спрашивает о дочери: — Как они промеж себя — хорошо живут? Разладицы нет?

— Хорошо, тетя Настя. Работой довольны. Квартиру новую ждут. Да что ж я буду рассказывать? Вот приедут через три недели за Ванюшкой, сами поговорите.

— Оба-то, чать, не приедут?

— Наверно, Наташа прилетит, погостит у вас. Отпуск у нее подлинней.

— А малец вроде зовкий, небалованный?

— Ванюшка? Да нет, парень прекрасный...

Ужинаем шумно. Должно быть, давно в меланинском доме не было так весело. Только Ванюшка стесненно помалкивает. Он вслушивается в речь деда и бабки с любопытством и недоверием.

— А что, старая, в праздник и у воровья пиво водится, — заводит жену Фрол Матвеевич.

— И так полушатов ходишь, а все туда же. Да и усы обмочишь — совсем поседеют. На кой ты мне полинялый нужен? — и, отмахнувшись от мужа, Меланина снова и снова виноватится перед нами: — Вы уж не обессудьте, стол у нас скорый да нелакомый...

— Ваньча, не слухай бабку, — хлопает дед внука по спине. — Лакомый, нелакомый... Ешь все подряд, ежели мужиком родился. И не ломайся. Ломливый гость голодным остается. А ты, бабка, на завтра блинов поставь, да квашню одень потеплее.

— Учи, учи, как квашню ставить. А то ведь я молодушка, не знаю, — ворчит тетя Настя. — А квашню и впрямь нелишне поставить. Пойду-ка я закваски у Иванихи возьму...

— Ну, ну, — хитро покачивает головой Фрол Матвеевич и подслеповато подмигивает мне: видали мы таких. Я тоже прячу улыбку — на столе хлеб домашней выпечки, и закваска в доме, конечно, есть.

Возвращается хозяйка с гордой усмешкой:

— Завидует нам, дед, Иваниха-то. Хорошо, говорит, внук у вас погостит.

— А сам что делает?

— Запил сам-то, суббота в доме. Об чем ему тужить? А чего пьет, чего пьет?

Фрол Матвеевич, расстроенный, отодвигает свою тарелку. Благодушная улыбка медленно, но тает, морщинки сереют, и в голосе сквозит злинка:

— С горя пьет — соли не на что купить. Опять на неделю. Кто за него работать будет? Черт лысый! Лишь бы елось да пилось, да на боку лежалось. Работнички! А-а! — Тряхнув тяжелой кистью влево, должно быть, в сторону пропащего соседа, старик Меланин обнимает внука. — Давай-ка, Вань, мы по горячей картошине положим. Да маслица добавим, а?

— Мне уже некуда, — смущается внук.

— Слабоват ты на еду. Бот прокачу тебя по лесам, проголодаешься, поглядим, что за столом запоешь.

— А на чем?

— Верхом.

— Правда?

— А кто ж нам мешает?

— А речка у вас есть?

— Есть тут одна лыва: дураку по пояс, а умный сухим пройдет. А так все леса.

— Как это — лыва?

— Да лужа большая.

— А ягоды есть?

— Куда ж им деваться? Вон тот опупок видишь? Со всех сторон ягоды, — тычет дед в окно.

— Как это — опупок? — безудержно и звонко хохочет Ванюшка.

— Опупок? Да... пригорок что ли... — Меланин растерянно смотрит на меня. Выпустив внука из-за стола — тот сразу бежит во двор к Шайтану, он озабоченно чешет мизинцем под усами. — Вот дожили. Поговорить с внуком толмача надобно, не понимаем друг друга. И как же, Лен, это называется? Сближение города и деревни? Так что ли?

И снова тетя Настя мягко уводит мужа от разговора. Она, ахая и охая, разглядывает блестящие обертки московских конфет, которые я горстью выложила на стол. Фрол Матвеевич, вздохнув, начинает спрашивать о дочери

и зяте, допытывается, какая же у них такая сложная работа, что совсем нельзя оторваться от столицы. Сидит от сутуло, уронив руки меж колен, и еле заметно покачивается на стуле взад-вперед. Время от времени ухмыляется из-под жестких усов: «Ишь ты!» И как всегда непонятно, затаил ли он уважение под этим полувздохом-полувосклицанием или же, напротив, прячет глубокое неодобрение. И думается мне, что вот так покачивается он и в лесу, целыми днями сидя в седле, и даже коню нет-нет да и бросит: «Ишь ты!»

— Ну а сама как живешь? — вдруг резко поворачивается он вместе со стулом в мою сторону. — Там же, в райцентре? Как дети?

— Нормально, Фрол Матвеевич. Мама тоже держится. Дети с ней остались. Ждали меня сегодня, наверно, да вот задержалась на день.

— Так ты что же, не погостишь у нас? По ягоды не сходишь?

— Нет, мне завтра к первому автобусу выйти надо.

— У-у-у! Чего же мы сидим? Тогда спать. До большака три версты пешком топать. Ваньча! Притих что-то...

— Да с Шайтаном шепчутся, — будто что-то запретное, тихо подсказывает тетя Настя. Ванюшка, усталый, обмякший, сладко позевывает над растянувшимся у его ног Шайтаном.

— Вань, а хочешь спать там, где мы с твоей мамой спали?

— Где?

— На сеновале.

— Как это?

— Пойдем — узнаешь.

— И что хорошо — ноги мыть не надо, — посмеивается над ним бабушка, отправляясь за одеялом.

— А я уже вымыл, — кричит ей вслед внук и поднимает розовую пятку. Его полосатые носки валяются на нижней ступеньке крыльца, а в голосе слышится сожаление...

Деревня затихает. Где-то далеко устало ворчит трактор. Допевают последние песни птицы. Скрипнул колодезный ворот, и мимо меланинских пристроек кто-то тяжело прошагал с ведром: слышно, как выплескивается вода.

— Как интересно! — прыгает Ванюшка на сеновале. — Я в кино видел — в таких партизаны прятались. Пулемет в сено и тра-та-та-тат-та!

Тетя Настя, пожелав нам доброй ночи, уходит в дом. А внизу, у лестницы, еще долго беспокойно вышагивает Шайтан, тоскуя по той неожиданной откровенной детской ласке, которая сегодня выпала на его долю.

В боковые щели струится синий сумеречный свет. Сено старое, утратившее неповторимый хмельной запах, отдает трухой и пылью. И все равно оно уютно шуршит под спиной, и шорох желанно трогает какие-то далекие излучины памяти. Но я вдруг отказываюсь от воспоминаний, хотя напросилась на сеновал с тайной мыслью вернуться на несколько минут в

ясную и звездную свою молодость. Я просто слушаю тишину. После московских улиц и вокзального гомона она тревожно настораживает.

«А ведь это только здесь, только здесь, — делаю внезапно грустное открытие, и оно больно царапает по сердцу. — В больших деревнях не так. Молодежь, наверно, высыпала на улицу. Смех, гитары, транзисторы. А тут — тишина... Пятнадцать дворов...»

— Теть Лен...

— Ты что, не спишь? Может, тебя в дом проводить?

— Нет, я не про то... Вы бабушку с дедушкой хорошо знаете?

— Да как тебе сказать? А что, собственно, случилось?

— Да так, — нерешительно замолкает Ваня и немного погодя размыто и неохотно спрашивает: — А они русские?

— Конечно. Почему ты сомневаешься?

— Чудно как-то разговаривают...

Вот это признание! Оно так горько, что я не нахожу слов для ответа. Зря, ой зря везла я мальчишку в такую даль! Права была Наташка: испорчу я ее сыну каникулы. Пусть бы сидел себе в подмосковном пионерлагере.

— Ты уж прости меня, Ваня, — тихо говорю я в темноту. — Скучно тебе, наверно, будет. Очень я хотела стариков порадовать, вот и уговорила мать отпустить тебя со мной.

— Ничего, я с Шайтаном подружусь, — успокаивает он. Ванюшка старается быть мужчиной, и его нарочито приподнятый тон еще больше меня расстраивает. Я ищу выход. Наконец, заранее чувствуя неловкость перед Меланиными, решаю приехать через неделю и увезти мальчика к себе. Мои сыновья постарше, но, пожалуй, это к лучшему. Ваня встречает мое предложение вздохом облегчения.

— А уж недельку-полторы ты поживи с дедушкой. Сам видишь, как они рады. Иначе с нашей стороны будет совсем непорядочно.

— Это точно.

— Дед у тебя воевал, до Берлина не дошел, но поговорить с ним о войне тебе будет интересно.

— Ага.

— Вот и ладненько. А теперь спать. Как-никак мне вставать с петухами.

— Как это — с петухами?

— Поживешь — узнаешь, — смеюсь я.

Вскоре Ваня засыпает. Я же закрываю глаза и, кажется, все еще вижу его распахнутый взгляд и в нем — постоянно наступающий вопрос: как это? С тихой и лукавой радостью посмеиваюсь над стариками Меланиными: ох и дойдет их внук вопросами, ах и дойдет!

II

Я, как и обещала, приезжаю в Лысовку через полторы недели. Еду вечерним автобусом, с тем, чтобы вернуться, как и в прошлый раз, первым утренним. От большака почти до самой деревушки меня везет подвыпивший старик. Он всю дорогу поет назойливо и негромко одну лишь строчку: «Бам! Бам! Бам!» Фыркает лошадь. На тряской телеге лежит охапка свежескошенной травы и призывно-сладко пахнет: так бы и уткнулась носом в щекочущий аромат.

— К дождику лошадь-то фырчит, — роняет мужик в мою сторону.

Я задираю голову: над нами весело и нахально чернеет туча.

Первые капли скользят по вискам, когда я подхожу к меланинским воротам. Во дворе тихо разговаривают:

— Ох, Шайтан и лаял сегодня ночью! На кого это он, деда?

— А на луну, — беспечно отвечает Фрол Матвеевич.

— Зачем?

— Чтоб спустилась пониже.

— Как это?

— Ну так, чтобы укусить можно было.

Дед и внук заразительно, словно наперегонки, смеются: а ну, кто звонче!

Меня они встречают по-разному. Ванюшка растерянно улыбается, и по его глазам я вижу, что он напрочь забыл о нашем тайном соглашении, о моем приезде и, может, вообще о моем существовании. Меланин же с удовольствием, даже с легким злорадством поддевает меня:

— О, внучок, народный контроль прибыл. Что, душа болит? Думаешь, оброс малец мохом с тоски? Ну ладно, чего шарашисься? Знаю, знаю, увезти хотела, — старик хитро подмигивает внуку, и тот виновато отводит глаза. — Не обижайся. Проходи в избу. Там бабка вареники с капустой развела. В самый раз. Ваньча! Давай бабкины половики снимем с плетня, а то замочит...

Контакт между дедом и внуком прочитывается сразу. Половики и те уже стали бабкиными, будто легла невидимая черта, по одну сторону которой они, мужики — дед и внук, а по другую — мы, то есть бабка и я, с нашими несерьезными страхами и заботами.

И снова чай, неторопливый, субботний. Дождь раза три принимается накрапывать, но землю покрывает вяло и скупно.

Ванюшка, поев, выскальзывает во двор и через минуту уже мчится с собакой мимо палисада.

— Вот так и носятся с Шайтаном, — с удовольствием замечает Фрол Матвеевич. — И не скажешь, кто шайтанистей — пес или малой.

— Ты, Матвейч, про баньку расскажи, — просит тетя Настя.

Старик Меланин берет папиросу, долго крутит ее, мнет сухими пальцами, смотрит на жену — выжидательно: «Ишь ты, так вот и

рассказать?» Потом заговорщицки — на меня: «А что, может, и впрямь рассказать?»

— Ну давай, давай, — подталкивает тетя Настя.

— Да, забавник он, конечно, — ухмыляется Фрол Матвеевич. Он вспоминает неизвестное мне событие, но пока про себя, еще не решив, стоит делиться со мной или нет. — Так вот, затопила бабка баньку, — резко и серьезно начинает он. — Кричу: «Вань, пошли грехи смывать!» — «Как это?» — «Обыкновенно — мылом натремся — шайкой сполоснем». — «Какой шайкой?» — «Ну тазиком по-вашему». Снял я портки, а он мешкает, стесняется, что ли. Ну, думаю, пусть раздевается, а я воды разведу. Оставил его в предбаннике, а сам ему голос подаю: «Вань, где-то там у нас банный начальник остался». — «Я сейчас!» И нет Ваньки...

Тетя Настя смеется, прилегая к столу, прикрыв ладонью глаза, в которых дрожат веселые слезы, смахивает их и подхватывает рассказ:

— Прибег ко мне: «Бабушка, вас деда зовет». Я бежмя к Фролу, у страха, сама знаешь, глаза велики. Годы у нас немалые, дрябнем потихоньку. Кто знает, где прихватит?

— Прибегла. Глаза вот такие, — Фрол Матвеевич показывает на чайные чашки. — А я штаны надеваю — Ваньку искать. «Ты чего пришла?» — «Как чего? Ты же сам прислал Ваньку!» — «Когда? Ваньча, что я тебе сказал?» — «Велели позвать бабушку!» — «А ну выкладывай, чего удумал?» — «Вы же сами сказали, где банный начальник?»

Меланины сладко, с упоением смеются, и с каждым новым всплеском смеха душе моей становится легче: я с нее снимаю груз, который взвалила в Москве.

— Теперь-то он знает, что в бане веник начальник?

— До новых веничков не забудет! — Фрол Матвеевич чиркает спичкой и подносит ее к измятой и истертой папиросе. — Вот соседи донимают: «Скажи да скажи, Ваня, кто в бане наибольший?»

— Не обижается?

— Поначалу конфузился, — винится Меланин-дед. — А теперь и сам смеется. Да и как обижаться? Любят его все. Один он на всю Лысовку. Да вот еще к Земсковым дочь свалилась с грудничком. Не испугалась. А Ванька малец усердный. Кому коня подержит, кому корову загонит. Все ему в любопытство. Такой любознай, просто молодец!

Тетя Настя согласно кивает головой. Ее радует все: и удавшиеся вареники, и вкрадчивый дождь в палисаде, и не в меру разговорившийся муж, и чай, не горячий и не холодный, а такой, в самый раз, чтобы изредка, неспешно прихлебывать, коротая субботний вечер.

— Ох, и радый он, — шепчет она, наклоняясь ко мне.

— Ох, ох, а ты не радая, — тут же налетает на жену Фрол Матвеевич. — Спокон веку внуки нужны были старикам, а старики внукам. Это сейчас все шиворот-навыворот. Мужик, ведь он как живет? Смолоду баб любит, потом — детей, а под конец — внуков.

— А баба, значит, не так? — берет меня взглядом тетя Настя в союзники.

— У вас, баб, ничего не поймешь, — задается Фрол Матвеевич. — Я про мужиков говорю. Вот ты, Лен, грамотнее нас с бабкой. Ты скажи, почему мы — пятнадцать аж дворов — остались без внуков? Правильно это?

— Фрол Матвеевич, так ведь скоро и деревушек таких — по пятнадцать дворов — не останется. Укрупнение идет.

Уже договаривая, я чувствую, что не то слово обронила, не к месту и не ко времени — тяжелое, больное для них, приросших к лысовскому опушку с лесами слева и справа. И Фрол Матвеевич, конечно, ерзком отодвигает стул и выдает свое коронное и короткое:

— Ишь ты! Кра-асный у нас разговор пошел, что и говорить. Укрупнить оно можно. Хотя от лесу далеко не уйдешь. Лес — он, что старики, ласку любит. А издаля ласки много не подаришь. Да и не об этом я. Вот ежели бы ты Ваню сюда не привезла, куда б его дели?

— На дачу, в лагерь. Куда же еще?

— Что ж, сюда, к дедам-то, нельзя? Чего им весь год строим да стадом ходить? Мальцу тоже не вредно и одному побыть, и с лесом пошептаться, зверью поклониться.

Влетевший в избу Ванюшка прерывает разговор:

— Бабушка, я Шайтана покормлю.

— Покорми, покорми, — тетя Настя собирает остатки еды с тарелок, разбавляет их водой, в которой варились вареники.

— Теть Лен, а у нас половицы приговаривают.

— Как это? — почти по-ванюшкиному удивляюсь я.

— А вот, — он, держа миску обеими руками, переступает несколько раз с половицы на половицу. Одна из них тонко и тягостно поскрипывает.

— Вань, ты там посмотри, чтоб самовар не ушел, — бабка влюбленно смотрит вслед внуку. — А ты, дед, не курил бы, нельзя тебе.

— Да я так, распространяю удовольствие, — иронизирует Фрол Матвеевич. — Не балуюсь, Лен, не-е. Я же вижу, давно косишь глазом на мою папиросу. Пожить хочу. Глядишь, через год внук опять приедет, а? — Меланин идет в разведку, чтобы заручиться моей поддержкой до приезда дочери. — Десять дён как не было, не заметили, как пролетели. Измолчались мы с бабкой, а тут Ваня. Ходит по пятам: как это да зачем это. Только поспевай отвечать.

Фрол Матвеевич волнуется и, видно боясь, что от волнения глубже затянется дымом, закашляется, рывком гасит папиросу.

— Ну его, табак этот, согресишь. Давай, бабка, чай.

— Чтой-то молчит Ванька. Пойду гляну, — тетя Настя идет на крыльцо. Дверь в избу остается приоткрытой, чтобы удобнее было внести самовар.

— Ну как, накормил дружка?

— Ага. Вот облизывается.

— А самовар как? Не ушел еще?

— Стоит.

— Да ты ж его проворонил! Глянь-ка, он давно у тебя убежал!

— Да вот же он стоит!

— Ах ты, господи! — Тетя Настя идет в избу, и от смеха самовар в ее руках подпрыгивает вверх-вниз. Чтобы не ошпариться, она ставит его скорей на пол, опускается тут же рядом на порожек и безудержно, до слез, до всхлипа хохочет, проводя по мокрым ресницам то рукой, то полотенцем, которое свисает с плеч. Фрол Матвеевич беззвучно подхихикивает ей.

— Вот так. Вот так, Лен, все десять дён. Верить ли, глаза от смеха не просыхают. — Старик откровенно, по-детски счастлив и стесняется этого: чиркнет по мне взглядом и скорей потушит глаза, чтобы не выглядеть несерьезным. Он наливает себе чай, забеливает молоком и пьет крупными редкими глотками. Поставив чашку на стол, отворачивается от нас к окну.

На мокрой лужайке Ваня с Шайтаном выделывают крутые путаные восьмерки. Отяжелевший после еды пес заметно охладел к играм. Он чаще садится и, высунув язык, не сводит с мальчика улыбочиво-просительных глаз.

Фрол Матвеевич следит за внуком, щурит слабые, нечаянно погрустневшие глаза.

— И куда он уходит — этот самовар? — задумчиво говорит он. — Уходит да и только...

Дождь, который долго и лениво подкрадывался, вдруг ударяет тяжелыми каплями по стеклам. Небо опускается, будто хочет прилечь на крышу. Вдали, над молодой голенастой рощицей, пляшут молнии.

У дверей, по-щенячьи радостно повизгивая, стоит Ванюшка, успевший за минуту вымокнуть с головы до пят.

— Смотрите, ну смотрите, что он со мной сделал! — Мокрый, сияющий, глазастый, он переступает с ноги на ногу, собирая и объединяя взглядом наши улыбки.

Под ним тихо и тонко приговаривают половицы.